

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн
**Памяти Н. Г. Михайловского
(Гарина)**

«Public Domain»

1908

Куприн А. И.

Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина) / А. И. Куприн — «Public Domain», 1908

«Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества...»

© Куприн А. И., 1908

© Public Domain, 1908

Александр Иванович Куприн

Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)

(Читано на вечере, посвященном

памяти Н. Г. Михайловского)

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были – моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н. Г. Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодovitости его таланта. Это было в Ялте, весной, на даче С. Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека, из городского сада, доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкал молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника, начинающая художница, очень известная певица, два марксиста – оба, точно по форме, в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах, – местный помещик-винодел с женою, оба красивые, молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешливой непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худошавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз – голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы, сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб – наполовину белый, наполовину коричневый от весеннего загара – обращал внимание своими чистыми, умными линиями.

Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров, от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это – электрический путь

по Крыму и повесть «Инженеры». Но – увы! – первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе – смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора – более находчивого, изобретательного и остроумного – трудно себе представить. Его деловые проекты и предположения всегда отличались пламенной, сказочной фантазией, которую одинаково трудно было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы: следы своей необузданной, кипящей мысли и своих денег, которые лились у него между пальцами.

По какому-то особенному свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужда и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех, близко его знавших, не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело. Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастье, если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу – литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависта и самомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратьям по искусству.

Мне ярко памятны эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г-чем и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г-ча ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младших товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив *École des Ponts et chaussées*¹. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей с трудом. Надо сказать – дело прошлое, – инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший женский труд – и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г-ч умел мягко, но настойчиво прекращать эти шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно

¹ Школу дорожных инженеров (франц.).

сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы.

Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова, красоту природы, женскую нежную красоту. У него – современного литератора – была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удавалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников, в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых, молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была холодна и тверда. И – помню – сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.